

ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ —
«ЭПОХА БЕЗ ИМЕНИ»:
о двух книгах из библиотеки Пушкина

ВЕРА МИЛЬЧИНА

Мы гораздо больше знаем об отношении Пушкина к французской литературе 1830-х гг., чем о его отношении к французской политической системе этого времени. По письмам к Е. М. Хитрово 1830–1831 гг. понятно, что живой интерес к событиям Июльской революции довольно скоро сменился у него разочарованием; по стихотворениям о польском восстании и по мемуарным свидетельствам¹ понятно, что западные «витии» и «мутители палат» не вызывали у Пушкина особой симпатии.

Но что именно он знал о жизни современной ему Франции при парламентском режиме, а точнее — что он мог о ней прочесть? В библиотеке Пушкина имелись две книги, посвященные более или менее подробно и систематическому обзору разных сторон французской, а точнее парижской действительности после революции 1830 г. Автор одной из этих книг, «Париж после революции 1830 года» [Janin 1832], был Пушкину хорошо знаком по его предыдущим сочинениям; это Жюль

¹ См., например, мемуарную зарисовку Вяземского: «Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельству, а частью и по наклонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина; наконец не выдержал и сказал ему: “А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек”. Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его. Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границую, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с любскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый» [Вяземский: 124–125].

Жанен, чьи первые романы, «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (1829), «Исповедь» (1830) и «Барнав» (1831); в предисловии, между прочим, заявлена резкая антиорлеанистская позиция автора²) вызвали заинтересованную пушкинскую реакцию³. Автор второй, «Эпоха без имени. Сцены парижской жизни в 1830–1833 годах» [Vazin 1833], напротив, в 1833 г. был известен очень мало, да и позже не снискал особой популярности; это Анаис Базен де Року (1797–1850), после 1833 г. выпустивший несколько работ по истории XVII в.⁴

В настоящей статье мы остановимся именно на этих двух книгах, поскольку остальные сочинения об июльской Франции, присутствовавшие в пушкинской библиотеке, не так полно отвечают на вопрос о том, как оценивали сами французы результаты политических перемен, происшедших в их стране после 1830 г. (в стихотворных сборниках Огюста Барбье [Barbier: 1832; Barbier: 1833] больше эмоций, чем фактов; книга англичанки Ф. Троллоп «Париж и парижане в 1835 году» [Trollope] — свидетельство иностранки). Разумеется, Пушкин читал не только книги, но также газеты и журналы, однако в этих последних было больше сиюминутной политики и меньше рассказов о образе жизни и образе мыслей французов

² Жанен стал полноправным членом «июльского» истеблишмента лишь во второй половине 1830-х гг., а до этого неоднократно заявлял о своем осуждении нового короля и всей Орлеанской династии (именно последовательному развенчанию всех предков Луи-Филиппа и посвящено предисловие к «Барнаву»).

³ См.: [Томашевский/Вольперт; Мильчина]. Впрочем, интерес Пушкина к Жанену далеко не всегда был сочувственным; порой на этого автора распространялось общее негативное отношение к тогдашней Франции: ср. пушкинское утверждение в споре с Вяземским о мемуарах Дюмона (1832), что “Jules Janin врет”, а «французы презрительны» [Пушкин в воспоминаниях: 220].

⁴ Histoire de France sous Louis XIII (1840); Histoire de France sous le ministère du cardinal Mazarin (1842), Études d'histoire et de biographie (1844), Les Commencemens de la vie de Molière (1847), Les Dernières années de Molière (1848); последние две работы опубликованы в журнале “Revue des Deux Mondes”.

при «июльском» режиме — тех самых рассказов, которые, собственно, и составляют содержание книг Жанена и Базена и которые позволяли Пушкину, образно выражаясь, мысленно «съездить в Любек» и даже гораздо дальше — в Париж.

Авторы обеих книг оценивают результаты Июльской революции примерно одинаково — как катастрофические. Однако мы будем более пространно цитировать Базена, поскольку он в данном случае пишет оригинальнее и тоньше и, как можно предположить, должен был больше импонировать Пушкину своей сдержанной иронией⁵, чем многословный и полный почти истерического антиреволюционного пафоса Жанен (который, впрочем, сознавал эту особенность своей манеры и сам над ней посмеивался: в его книге повествователь демонстрирует послереволюционный Париж простодушному американцу, приехавшему полюбоваться на завоевания революции, и так утомляет гостя своими негодующими восклицаниями, что тот наконец перебивает его, заверяя, что уже и так все понял [Janin 1832: 51]).

Каждая на свой лад обе книги отвечают на одни и те же вопросы:

что означают понятия «революция» и «бунт» во Франции после событий 1830 г. (в обществе, где революция стала настолько привычной, что в журнале “*Revue des deux mondes*” с октября 1831 по март 1832 рубрика, повествующая о последних политических событиях, носила название «Революции последних двух недель»⁶)? какое общество сложилось во Франции в результате этих событий, как оно мыслит свое на-

⁵ Базен выбрал этот тон вполне сознательно, о чем свидетельствует позднейшее признание, с которого он начинает «Историю Франции при Людовике XIII»: «Я отказался от легкого успеха, какой сулят выпренные фразы и напыщенные тирады» [Bazin 1840: III]. Пушкин не мог не обратить сочувственного внимания и на похвальное слово Мальзербу («святому старику» из «Андрея Шенье»), за которое Базен в 1831 г. получил премию Французской академии и которое он включил в первый том своей «Эпохи без имени».

⁶ Позже замененное на «Хронику прошедших двух недель».

стоящее и прошлое? как действует на практике парламентская система и что она приносит гражданам страны?

Выводы, к которым приходят оба автора, как уже было сказано, очень близки, но у Базена смутность и межеумочность описываемой эпохи заявлена отчетливее, уже в самом названии — «Эпоха без имени». Между прочим, в названии этом нет никакого преувеличения: еще в 1839 г. Дельфина де Жирарден рассуждает в одном из очерков своей еженедельной хроники о разнице «между удовольствиями 1812 года и нашими, между модницами Империи и модницами... июльскими... Золотой середины... царствования Луи-Филиппа... второй революции... Как же назовут нашу эпоху? Мы понятия не имеем о том, какое имя даст ей история. Мы говорим о консульстве, Империи, Реставрации, а что скажут о нас?»⁷. Эпоха получила название, привычное нам, лишь когда закончилась⁸.

Оба автора осуждают новую власть не потому, что выдвигают в противовес ей некую «позитивную программу». Они лишь наблюдатели — разочарованные и неудовлетворенные. У Базена эта авторская позиция обозначена уже в эпиграфе из Лукиана (из сочинения «Как следует писать историю»): «Я хотел последовать примеру Диогена, который, когда распространился слух, что Филипп приближается, и коринфяне принялись кто заделывать стены, кто чистить оружие, решил тоже чем-нибудь заняться и стал катать взад и вперед бочку, в которой тогда жил».

В современной эпохе Базен подчеркивает те черты, которые обозначены в заглавии, — это эпоха без имени и без лица, «анонимная эпоха»,

общество, пребывающее в состоянии неопределенном, бледное, томное, дрожащее от того, что содеяно вчера, встревоженное тем, что произойдет завтра, близкое по времени к событиям, от которых оно, кажется, далеко по своей природе; общество, в котором

⁷ [Girardin: 533] (фельетон от 21 сентября 1839).

⁸ По-видимому, одно из самых ранних употреблений термина «Июльская монархия» — в названии брошюры 1850 г.: Monarchie de juillet. 1830–1848. P., Impr. de Plon frères, 1850.

нигде не заметно ни мысли, имеющей будущность, ни предприятия, готового к долгой жизни; в котором люди живут со дня на день, ищут успеха сиюминутного и спешат урвать хоть кроху от того настоящего, что вот-вот ускользнет из их рук.

Тут же следует разъяснение:

Называя так наше нынешнее состояние, я вовсе не желаю в чем-либо его упрекнуть. Я поступаю так просто потому, что в нашем политическом словаре до сих пор нет слова, способного определить то, что не является ни республикой, ни империей, ни реставрацией, и даже те, кто основал этот новый порядок, не могут прийти к согласию касательно имени, которое он должен носить. Поэтому мне показалось, что в названии книги возможно употребить выражение отрицательное [Bazin 1833: 1, III–V]⁹.

То же самое состояние описывает Жанен в последней главе книги, названной «Хаос» (“Тоhu-bohu”):

Общество, которое полагало, что идет вперед, а в результате обнаружило, что движется назад; общество, которое полагало, что укрепило свои основания, а в результате обнаружило, что основания эти зыбки; общество, которое прошло через все крайности свободы и полагало, что достигло цели, а в результате обнаружило, что цель далека как никогда и надобно вновь начать погоню за ней, вновь двигаться вперед, вновь скитаться там и сям, не имея, однако, опоры ни в старинных верованиях, ни даже во вчерашних иллюзиях. Иллюзии и верования — все это для нас мертво, но сами-то мы еще живы и обязаны идти вперед! Как же это тягостно — идти, не зная ни где ты находишься, ни куда стремишься! Хаос! <...> Что здесь считается преступлением, а что

⁹ Эпитет «отрицательный» можно применить и к политическим убеждениям самого Базена: он нигде их не высказывает и, по-видимому, не присоединяется ни к одной из наличествовавших на тот момент во Франции политических партий; ему не нравится то, что происходит, а о том, что могло бы ему понравиться, он умалчивает.

добродетелью? Каким словом выразить сущность современной Франции? Библия отвечает: Хаос! [Janin 1832: 174–175, 181]¹⁰.

Базен начинает свою книгу с подробного рассказа (в форме письма к другу, находившемуся летом 1830 г. вне Франции) о ходе Июльской революции. Главная отличительная черта и этой революции, и той силы, которую она привела к власти, — это, по описанию Базена, почти фарсовая абсурдность и бестолковость.

На Вандомской площади подписывали перемирие, а в Лувре в это время продолжали убивать. Одни кричали: «Да здравствует Хартия!», а другие, в десяти шагах от них, ревели: «Долой Бурбонов!» Можно сказать с уверенностью, что и победители, и побежденные были равно удивлены: одни тем, что победили, другие тем, что проиграли [Vazin 1833: I, 25]; Пока в палате депутаты сочиняли конституцию, за пределами палаты недепутаты сочиняли конституции десятками; основные законы текли рекой. Уличные Ликурги осаждали выборных Солонов — лишний повод не медлить с решениями [Ibid: 29; речь идет о начале первой после революционной парламентской сессии 3 августа 1830 г.¹¹].

Соответствующие решения были приняты, и Франция осталась конституционной монархией, можно сказать, сделалась даже еще более конституционной, чем в эпоху Реставрации, поскольку теперь и король был выборный — назначенный и утвержденный обеими палатами парламента. Предполагается, что процедура выборов (в палату депутатов) играет при таком

¹⁰ Тот же диагноз поставлен и в «Предисловии издателей» к «Ямбу» Барбье (книге, которая также имела в библиотеке Пушкина): «Мы, как было сказано уже давно, живем в эпоху переходную и проходную. <...> Куда движется общество? Позади нас руины, впереди непроницаемая тьма. В настоящем — смертная тревога» [Barbier 1832: V–VI].

¹¹ Ниже Базен иронизирует по поводу одной из этих конституций — так называемой «программы Ратуши»: «Чтобы понять, существовала она или нет, и если да, то в чем заключалась, нужно всего-навсего прочесть четыре с половиной тысячи газетных статей на эту тему. Невозможно потратить время с большим толком» [Vazin 1833: I, 81].

политическом устройстве важную роль. Базен подробно описывает, как, с его точки зрения, она происходит. Буржуа (опора нового режима) тщательно готовится к выборам: он делает на отдельных листках заметки о кандидатах и складывает эти листки в папку.

Накануне выборов он запирается у себя в кабинете и начинает священнодействовать; он достает бумажки одну за другой и читает: «№ 1. Господин Пьер: независимое положение, честно нажитое состояние, ревностная забота об общественных свободах, любовь к порядку, обязательство ни от кого не принимать жалованья». «№ 2. Господин Поль: честно нажитое состояние; независимое положение, обязательство ни от кого не принимать жалованья, любовь к порядку, ревностная забота об общественных свободах». И так далее вплоть до последнего, 13-го номера, без каких бы то ни было изменений, кроме порядка слов, как в любовном признании господина де Журдена. Буржуа отправляется на подготовительное собрание и возвращается оттуда в еще большем смятении, ибо все эти идеальные политические репутации, каждая из которых казалась ему такой цельной и неуязвимой, вдруг чудовищно потускнели. Наконец, в назначенный день он приходит домой довольный, он сделал то, что намеревался, он проголосовал по совести; он отдал свой голос за кандидата, который никогда не будет избран [Vazin 1833: I, 48]¹².

Базен оценивает возможности избранной таким манером палаты столь низко, что в рассказе о ней не затрагивает ни одной серьезной темы: ни о государственных проблемах, ни о политических решениях он даже не упоминает. Он ведет речь только о бытовой стороне — об очереди, которую приходится выстоять посетителям, желающим присутствовать на заседа-

¹² О том, насколько скептически оценивал Базен перспективы удачного *выбора* политических деятелей, свидетельствует и его реплика по поводу перемены в порядке комплектования палаты пэров (после Июльской революции звание пэра из наследственного превратили в пожизненное): «Еще несколько раз попробуем назначать пэров по способностям и тогда, возможно, всем станет ясно, что куда менее рискованно назначать их по рождению» [Vazin 1833: I, 133].

ниях палаты депутатов, об устройстве залы заседания (где, среди прочего, имеются «две пары стенных часов, которые редко показывают одно и то же время — не иначе, как под влиянием места»), о соблюдении регламента (официально заседания начинаются в полдень, на практике же — не раньше двух часов пополудни) и о поведении его главного хранителя — председателя палаты: «У него три орудия наказания: ножик из слоновой кости, звонок и шляпа. Ножик стучит об стол в маловажных случаях, когда тишину нарушают разговорами всего три-четыре десятка человек — что случается крайне редко». В более серьезных случаях в ход идет звонок. «Наконец шляпа — это объявление военного положения, начало государственного переворота. Водруженная на голову председателя, она возвещает, что порядок разрушен полностью, что дискуссия невозможна, а регламенту заткнули рот. <...> Однажды все отправление представительной власти было остановлено отсутствием шляпы», когда же ее наконец принесли, она оказалась велика: посыльный «переоценил головастость председателя» [Bazin 1833: I, 150].

Отступая от канона описания палаты, предполагающего портретирование или хотя бы перечисление ее самых блестящих ораторов, Базен не называет не только ни одной темы обсуждения, но и ни одного имени — очевидно, потому, что презирает всех депутатов в равной мере. Автор «Эпохи без имени», правда, объясняет это другой причиной: имена всех депутатов можно узнать из рисованного плана (*table figurative*) палаты, где каждый народный избранник помещен там, где ему и полагается находиться согласно партийной принадлежности: слева, справа или в центре. Впрочем, Базен отказывает депутатам даже в верности декларируемым политическим принципам. Только не забудьте, предупреждает он, прочесть примечание к плану, где объясняется, что если кто-то сидит справа или в правом центре, это ничего не значит, просто других мест не осталось; депутаты, оказавшиеся в этой части амфитеатра, вообще в большинстве своем не сидят, а стоят, словно зашли сюда на минутку. Ведь в данный момент главенствуют левые,

а «лагерь побежденных — все равно что чумной барак» [Vazin 1833: I, 140].

Одним словом, в изображении Базена палата депутатов — учреждение ничтожное. По замыслу она призвана определять политическое развитие страны, однако на практике именно она максимально чужда политике: «Кажется, что входящий сюда читатель газетных полемик обязан быть настроен за или против той или иной партии, и разыскивать глазами того оратора или государственного деятеля, который достоин осуждения или восхищения. Так вот! Ничего подобного вы здесь не найдете» [Ibid: 138]. Между тем сам Базен в начале книги предупредил о том, что «несмотря на острое нежелание иметь дело с той сварливой соседкой, которую именуют “политикой”», ему придется считаться с ней в прогулке по Парижу «и, можно сказать, получить от нее подорожную» [Ibid: 4]. Стоит выйти на улицу, пишет Базен, и политика «столкнется с вами, схватит вас за шиворот, бросится вам в глаза, потянет вас за уши. Она будет во всем — в охрипшем голосе разносчика, которому революция вернула право этого самого голоса, <...> в афишке книгопродавца, в песенке на перекрестке, даже в маленьких детях, которые в своих играх требуют крови»; больше того, даже на улицу выходить не обязательно, политика настигнет вас и дома, в лице кандидата в депутаты, униженно просящего о поддержке, в форме принесенного на дом памфлета или просьбы об участии в патриотической подписке.

Политика, по Базену, присутствует везде — кроме специально созданной для занятий ею палаты депутатов. Образ серьезного субъекта внутренней и внешней политики, выборной инстанции, которая утверждает или отвергает предложения правительства, у Базена дискредитируется и доводится до абсурда благодаря описанию «вторичных» признаков деятельности при полном отсутствии первичных.

Жанен дискредитирует режим иначе, в еще более шутовской манере. Американец, которому повествователь в его книге демонстрирует «июльский» Париж, приехал во Францию не просто за впечатлениями; у него есть гораздо более конкретная цель — скрестить свою ньюфаундледшу Тисбу с «лувр-

ским псом» (заглавным героем культового, как выразились бы в наши дни, стихотворения Казимира Делавиня о псе, чей хозяин был убит в один из революционных дней возле Лувра, а пес до сих пор его дожидается). Повествователь приводит американца на то место, где можно увидеть «луврского пса», каковой оказывается «старым и паршивым грифоном». «Но вы ведь говорили, что луврский пес — пудель?» — удивляется американец. — «Пуделем он был неделю назад», — хладнокровно парирует повествователь. «В таком случае, красавица моя, ты будешь иметь дело с псом твоей породы» [Janin 1832: 54], — успокаивает американец свою собаку, а читатель остается в уверенности, что вся Июльская революция есть такой же миф и фарс, как и история «луврского пса».

Всякий новый порядок создает новые памятники и тем или иным образом обходится со старыми. Июльский режим презирает памятники прошлого, но не умеет создать ничего прочного для увековечивания своего настоящего. Эту тему активно разрабатывают оба автора.

«Июльский» Париж в описании Базена это «фундаменты без зданий, пьедесталы без статуй»:

Политика в наш век меняется столь стремительно, что ни знаменательные события, ни великие люди не подлежат изображению ни в мраморе, ни в бронзе. К чему попусту растрчивать талант и камень! А если уж необходимо занять умелые руки наших художников, пусть займутся предметами скоропреходящими, пусть радуют нас произведениями легкими, хрупкими, эфемерными — такими же, как наши восторги, клятвы и конституции [Vazir 1833: I, 112–113].

Материальные плоды новой эпохи — это

здания, поднявшиеся не выше нескольких футов над землей, пьедесталы без постояльцев, колонны без вершин, несовершенные фундаменты, сквозь которые прорастает трава; не развалины, а наброски. Это постройки нашего времени, доведенные до того состояния, до какого мы способны их довести. Ибо надобно признать, что для нас время строить прошло. Все, что мы умеем, — это разрушать особняки, чтобы возвести на их месте доходные дома, продырявливать стены, чтобы устроить в проходах лавки,

превращать дворцы в базары, а сады в перекрестки [Bazin 1833: II, 52].

Все это современные французы построить могут, а вот возвести здания на века, такие, которые сохранили бы память об их эпохе для грядущих поколений, им не дано:

Империя со всей своей мощью, Реставрация со всей своей доброй волей не сумели закончить первая триумфальную арку, вторая — церковь¹³. От площади Звезды до площади Бастилии искусство наших дней сумело довершить только те здания, какие посвящены промышленным спекуляциям¹⁴; все прочие его создания — жалкие недоноски. <...> Я склонен думать, что, возведя храм парижской торговли¹⁵, монументальная архитектура выстроила свой собственный мавзолей [Ibid: 53–55].

Базен возвращается к этой теме многократно:

Обычно идеи века выражаются в его памятниках, в них он свидетельствует грядущим векам о состоянии своей цивилизации. В последние сорок лет мы выдвинули множество систем, разрушили общество почти до основания, дабы построить на его месте нечто благоприятствующее счастью и свободе народов. И что в результате? Короля мы оставили в его старом дворце, правосудие — в его старом замке, религию — в тех немногих храмах, которые не сожгли и не продали. <...> Мы сломали немало церк-

¹³ Имеются в виду Триумфальная арка на площади Звезды, строительство которой было начато еще при Наполеоне, в 1806 г., а закончено уже после выхода книги Базена, в 1836 г., и церковь Магдалины (Мадлен) на одноименной площади, первый камень которой был заложен еще 3 апреля 1764 г., при Людовике XV, закончена же и освящена она была только в 1842 г.

¹⁴ Имеются в виду здание фондовой Биржи, которое строили в 1808 по 1827 г. (оно и по сей день стоит на площади Биржи), и министерство финансов, построенное в 1822 на углу улиц Риволи и Кастильоне (не сохранилось, так как было сожжено в 1871 г., при Парижской Коммуне).

¹⁵ Надо полагать, что имеется в виду вышеупомянутая фондовая Биржа, которая за роскошь архитектурного замысла была прозвана «дворцом Броньяра» (по имени спроектировавшего ее архитектора).

вей, но не построили ни одной больницы. Все великое и долговечное, что мы оставим на память о наших общественных свершениях, исчерпывается алтарем бюджета и храмом спекуляции. — Впрочем, я совсем забыл: мы строим тюрьмы [Vazin 1833: I, 193],

и это очень кстати:

Гений нашей цивилизации в предусмотрительности своей сделал тюрьмы удобными, приятными и полезными для здоровья. Эти удобства — предмет первой необходимости, в заботе о которой обязаны соединиться представители всех партий. Ибо до тех пор, пока мы на словах и на деле будем искать самое свободное состояние общества, нам всем надо быть готовыми к тому, что мы один за другим окажемся за решеткой [Ibid: II, 53].

Строить французы не научились, убежден Базен, зато отлично научились действию противоположному: «Наш главный талант — способность разрушать; разрушаем мы так отлично, быстро и тщательно, что от здания не остается и следа» [Ibid: 31]. В качестве примеров Базен приводит судьбу церкви Сен-Жермен-л'Осеруа, которая пострадала дважды, сначала от варваров-норманнов, а затем — недавно — от людей «июльской» эпохи¹⁶: «Норманны наших дней действуют быстро. За одну ночь они разоряют храм не хуже, чем могли бы его разорить события нескольких столетий или фанатики другой веры. <...> Теперь эти руины составляют предмет сожалений для художников, горя для верующих и головной боли для мусорщиков» [Ibid: 33–34]. Разгрому чуть более мягкому подверглась многострадальная церковь Святой Женевиевы, начатая еще в середине XVIII в., в 1791 г. превращенная в Пантеон —

¹⁶ Имеются в виду события 14 февраля 1831 г., когда парижские легитимисты решили устроить в этой церкви богослужение за упокой души герцога Беррийского, убитого шорником Лувелем 11 лет назад; поскольку герцог принадлежал к старшей ветви Бурбонов, низвергнутой с престола в июле 1830 г., парижские простолюдины ворвались в церковь и учинили там такой грандиозный погром, что через несколько часов от храма остались только крыша и голые стены.

усыпальницу великих людей, в 1806 г. вновь отданная католической церкви, а после Июльской революции опять сделавшаяся Пантеоном¹⁷ и, выражаясь словами Базена, «вновь лишившаяся новенького креста и едва просохших алтарей»:

Во второй раз из этого храма выселили божество, дабы заменить его бессмертием человеческим. Но вот незадача: когда место приготовили и чисто вымели, обнаружился недобор великих людей; для пьедесталов не достало статуй. В ближайшем прошлом — а иного прошедшего мы не признаем, — среди вчерашних знаменитостей не нашлось ни одной репутации неоспоримой, ни одной святости, почитаемой всеми без исключения. Да и в настоящем нет никого, кто бы подавал надежды, никого, о ком бы скучали подземелья Пантеона! Заметим, что члены почтенного собрания, обсуждавшего этот важный вопрос, явились на заседание все до единого [Vazin 1833: II, 35]¹⁸.

Разумеется, Жанен также не проходит мимо судьбы Пантеона — «руины разом и священной, и мирской, двойного опровержения двух верований», «здания, которое не может решить, что же все-таки оно собой представляет — церковь или светскую постройку, гробницу или часовню» [Janin 1832: 45]. Если Базен иронизирует над неумением новой власти увековечивать собственные деяния, Жанен произносит на ту же тему патетический монолог:

Революция, которая хочет иметь собственные памятники, должна набраться терпения, чтобы их построить, а если терпения ей не хватает, должна набраться мудрости для того, чтобы обойтись без них. Но завладеть тронном законного короля и превратить его в трон короля-гражданина, <...> сказать церкви: ты более не

¹⁷ На этом, как известно, колебания маятника не закончились, и здание вновь стало церковью Св. Женевьевы при Второй империи, чтобы опять — и уже навсегда? — вернуться к статусу Пантеона при Третьей республике.

¹⁸ Заметим, что Базен уловил тенденцию очень точно: за 18 лет правления Луи-Филиппа в Пантеоне не прибавилось *ни одной* гробницы; прийти к общему мнению относительно знаменитостей, достойных этой чести, «почтенное собрание» депутатов так и не сумело.

храм; Божьему алтарю — теперь ты алтарь, где поклоняются человеку <...> — это значит действовать слишком поспешно, чтобы заслужить право на бессмертие [Janin 1832: 46–47].

Вывод, сделанный Жаненом, лишний раз подчеркивает ощущение межеумочности, недоконченности и невнятности новой эпохи: «У нас нет ничего, кроме полупамятников, полугероев, полуверований!» [Ibid: 46–47]¹⁹.

¹⁹ Особый интерес Пушкина должно было вызвать язвительное замечание Жанена по поводу «Парижской песни» (*la Parisienne*) Казимира Делавиня, которую сам Пушкин в письме к Е. М. Хитрово от 21 августа 1830 г. назвал «водевильными куплетами» [Пушкин: XIV, 108, 415]. Июльская революция, пишет Жанен, использовала готовую поэзию, точно так же, как и готовый храм: поэт за одни сутки переписал кантату, которую сочинил пять лет назад в разгар эпохи Реставрации: тот же ритм, тот же стих, тот же мотив; ««Парижская песнь», как и Пантеон, была уже готова; довольно было в одном случае поменять несколько рифм, в другом — сменить надпись над входом. Жалкое зрелище! Что же касается смысла, то он в этих стихах и не ночевал» [Janin 1832: 49]. Следует заметить, что в сборнике «Новые рассказы» (*Contes nouveaux*), выпущенном в следующем, 1833 г. и развивающем многие темы и многие упреки новому режиму, которые присутствуют в книге 1832 г., Жанен выдвигает то же обвинение против Делавиня. Здесь он варьирует дату (не пять, а восемь лет назад) и приводит строку из той ранней «кантаты», которую Делавинь якобы переписал в 1830 г.: “Partons pour Italie!”; в «Парижской песни», говорит Жанен, эта строка превратилась в “Courons à la victoire!” [Janin 1833: 153–154]. Единственное стихотворение Делавиня, которое (впрочем, с очень большой натяжкой) подходит под описание Жанена, — это «Отъезд», открывающий сборник «Семь новых мессинских песен» (*Sept messéniennes nouvelles*, 1827), с его рефреном “Adieu, patrie! adieu, patrie!”; однако основной его текст, написанный александрийским стихом, не совпадает с «Парижской песнью». Вообще если что и роднит кантату 1830 г. с предыдущими стихами Делавиня, то это название: “Parisienne” «рифмуется» с “Messéniennes” (под этим общим названием Делавинь выпускал сборники своих стихов начиная с 1818 г.).

У «июльской» Франции, если верить Базену и Жанену, дела обстоят плохо не только с памятниками, но и с памятные датами. События многострадальной истории Франции за предшествующие полвека наплывают одно на другое, последующие вытесняют предыдущие, и ни одно из них не задерживается ни в народной памяти, ни в названиях улиц, площадей и институций.

Жанен сосредотачивает свое внимание на памятных *местах* города: придуманный им американец рвется взглянуть на площадь Бастилии и обнаруживает там «жалкую пародию на народный праздник» — «грязные публичные экипажи, достойные своего грязного названия», «четыре крашеные доски» вместо памятника²⁰ и огромного слона из дерева и гипса²¹ [Janin 1832: 43].

Со своей стороны, Базен особенно живо интересуется названиями и датами. Так, рассказывая об «утвари» палаты депутатов, он упоминает — в одном ряду с креслом и столиком для председателя, несколькими флагами, дюжиной стульев и четырьмя табуретами — двух вестников (служащих, в чью функцию входила доставка бумаг от председателя одной палаты председателю другой), которых, как он уверяет, не сменяли с 1789 г.; вестники остались прежними, зато многократно менялось название палаты: Национальное собрание, Законодательное собрание, Конвент, Совет Пятисот, Законодательный корпус, палата депутатов, палата представителей [Bazin 1833: I, 149]. Базен неторопливо перечисляет все эти названия палаты, точно так же, как в другом месте именуется площадь Согласия всеми именами, которые она успела сменить с 1789 г.: Людовика XV, Людовика XVI, Согласия и Революции [Ва-

²⁰ Решение об увековечении на площади Бастилии памяти тех, кто погиб во время Июльской революции, было принято еще в 1831 г., но замысел конкретизировался лишь в 1833 г., когда началась работа над проектом колонны, завершённой и открытой в 1840 г. (см.: [Démier: 120–121]).

²¹ Известного позднейшим читателям как жилище Гавроша в «Отверженных» Гюго.

zin 1833: I, 142]²². С переменной власти сменяются не только названия, но и торжественные даты: в эпоху Реставрации премии Французской академии за красноречие вручали 25 августа — в день Св. Людовика; когда 25 августа отменили, как до этого отменили 15 августа (день рождения Наполеона, который он сам объявил днем святого Наполеона, ибо до того имя этого святого в церковном календаре отсутствовало), тогда торжественным днем назначили 9 августа, день, когда Луи-Филипп поклялся на Хартии и стал королем французов [Vazin 1833: I, 248]. Смене праздников и памятных дат Базен посвящает пространное рассуждение, проникнутое ощущением непрочности и ненадежности современной истории. До революции 1789 г., пишет он, во Франции было множество праздников; Революция их упразднила, но немедленно принялась выпускать декреты об учреждении новых празднеств.

Таких декретов издавалось в день по полдюжины. Но с исполнением возникли сложности: для объявления того или иного дня общественным праздником не хватало общих воспоминаний. За неимением прошлого, прибегли к настоящему. Всякое деяние объявляли вечным и навязывали потомкам память о нем [Ibid: II, 202].

О днях 14 июля (1789 г.; день взятия Бастилии), 10 августа (1792 г.; день ниспровержения королевской власти), 21 января (1793 г.; день казни Людовика XVI) — обо всех этих днях

²² Весь этот исторический калейдоскоп влез в вереницу имен, которыми карикатурист Травьес нарек придуманного им персонажа, чрезвычайно популярного в начале 1830-х гг., — горбуна Майё (Базен посвящает ему отдельную главу). Майё родился в Париже 14 июля 1789 г. и хотя при рождении этот образцовый парижский буржуа, был, согласно святым, наречен Бонавентурой, впоследствии он, меняя имя в строгом соответствии с ходом французской истории, превратился в Мессидора, затем в Наполеона, затем в Людовика, затем в Карла и наконец в Филиппа [Vazin 1833: I, 77] — в честь республиканского календаря, императора французов, королей Франции Людовика XVIII и Карла X и короля французов Луи-Филиппа.

объявлялось, что их будут помнить вечно, но довольно скоро падение Робеспьера, организатора всех этих празднеств, прибавило к названным еще одну памятную дату — 9 термидора²³. Затем главной праздничной датой сделалось 18 брюмера; потом на авансцену вышли две даты: вышеупомянутое 15 августа и 2 декабря (день коронации Наполеона императором французов). «А теперь, — продолжает Базен, — задумайтесь о том, какой недолгий срок отпущен в наше время даже созданиям гения! Прошло десять лет — и никто уже не вспоминал ни о 2 декабря, ни о 15 августа. Реставрация отменила обе даты». Эпоха Реставрации могла бы ограничиться восстановлением старых праздников, но не захотела отставать от моды и учредила новый праздник 3 мая — годовщину въезда Людовика XVIII в Париж в 1814 г. после двадцатилетнего изгнания. Однако наступила революция 1830 г. и учредила собственный праздник, призванный, как выражается Базен, «сохранить память о трех безработных днях» [Bazin 1833: II, 204].

Июльский режим установился в результате революции. Революция кончилась; ее сменило для парижан регулярно повторяющееся событие, именуемое бунтом (*émeute*)²⁴. Жанен,

²³ Современный взгляд на историю, теорию и практику революционных праздников во Франции см. в кн.: [Озуф].

²⁴ Чтобы подчеркнуть эту идею регулярности, Базен вводит в последнюю главу книги, носящую название «Фланёр», целый пассаж о том, зачем фланёру перед выходом на прогулку заглядывать в ежедневную газету, — не для того, чтобы, как естественно предположить, узнать прогноз погоды, но для того, чтобы узнать, если можно так выразиться, прогноз бунта: «Только человек совсем беззаботный может отважиться в такое время, как наше, выйти на улицу, не выяснив сначала, в каком настроении пребывает общество, большая ли дистанция отделяет его от бунта и какой вид надлежит принять гуляющему, чтобы спокойно проложить себе дорогу среди людей разных убеждений. <...> Не подлежит сомнению, что фланёр читает газету оппозиции; ведь только там содержатся предупреждения о надвигающейся опасности, о месте и времени столкновения разных партий. Правительственные газеты, напротив, всегда безмятежны, они всегда

разумеется, не обходится без упоминания бунта, радикально меняющего облик парижских улиц («Париж имеет вид томный и сонный; можно подумать, что он при смерти, но внезапно поутру люди начинают собираться, перегораживать улицы, вопить и выть. — Так начинается бунт» [Janin 1832: 66]). Однако гораздо более подробное описание бунта, если не беспощадного, то в высшей мере бессмысленного, Пушкин мог прочесть в книге Базена, в главе «Бунт»:

Наш бунт любит смуту, но любит без страсти. Никто и ничто не служит ему вожделенной добычей и вожделенной жертвой; никто и ничто не является для него предметом пылкой привязанности, энтузиазма, веры. Он знает, как кричать «Долой!», но не знает, как говорить «Да здравствует!». Ненавидит он слабо, любить не умеет вовсе; он скучает, он досадует — и не более того.

Бунт всякий раз происходит по одному и тому же сценарию: не успеют магические слова «Где-то что-то происходит» начать передаваться из лавки в лавку, от привратника к привратнику, как вереницы людей заполняют улицы [Bazin 1833: I, 61].

Таков первый день бунта, который — это следует иметь в виду — всегда длится ровно три дня, в память о революции, с которой все началось. Поэтому в первый день робкие люди еще не решаются восставать, а люди занятые спокойно заканчивают свои дела [Ibid: 62].

Базен всеми средствами подчеркивает бесцельность и бессмысленность парижского бунта. Лучший способ собрать бунтовщиков в одном месте, пишет он, поставить там жандарма.

Жандарм приманивает толпу. Если Комическая Опера так часто вынуждена была закрываться за отсутствием зрителей, то лишь потому, что дирекция жалеет денег на сторожевой пикет. Пошли-

предсказывают окончание тех беспорядков, начала которых ни мало не ожидали, и важно сообщают вам, что повсюду в конце концов восстановлен порядок» [Bazin 1833: II, 302–303]. В первые пять лет после Июльской революции бунты в Париже в самом деле вспыхивали с частотой, пугавшей и власти, и обывателей. См., например: [Vigier: 30–123].

те двадцать жандармов на улицу Ришелье, и я берусь обеспечить Французскому театру целых сто человек в зале на представлении трагедии. Власти это хорошо знают, и потому не скупятся на войска²⁵ [Bazin 1833: I, 63].

На второй день бунта рассказы о вчерашнем притягивают людей к местам беспорядков.

Хорошо, если там что-нибудь повредили или разбили, а уж если полиция удосужится (а без этого не обходится никогда) вывесить там прокламацию, призывающую добрых граждан разойтись по домам, тогда не удержать никого. Весь город высыпает на улицы, и перед каждым плакатом, запрещающим скапливаться, скапливается целая толпа народу. Вот тут могло бы начаться что-то серьезное, когда бы среди бунтовщиков нашлись люди с сильными страстями и выношенными решениями. Впрочем, иные злоумышленники пытаются взять в свои руки события третьего дня. Но день этот по праву принадлежит властям и их триумфу.

²⁵ Ирония Базена направлена и на бунтовщиков, и на представителей власти, и на труппу Французского театра (Комеди-Франсез), который в это время находился в глубоком кризисе и не мог похвастать живым интересом публики вплоть до 1838 г., когда выход на сцену юной Рашель способствовал возрождению классической трагедии. В другом месте Базен описывает (весьма неодобрительно) уловки, на которые ради привлечения зрителей шли актеры прославленной труппы: они принялись ставить водевили и мелодраму, «променяли расшитые камзолы на куртки и лохмотья; <...> за неимением лучшего, Французский театр решил попробовать себя в новых жанрах, в тех новых жанрах, какие рождаются, когда время торопит, будущее ненадежно и никто не знает, к чьим вкусам следует принаравливаться, чьи прихоти удовлетворять. Он решил ставить пьесы на злобу дня, непристойные пустячки, политические драмы; но старые привычки сковывали его по рукам и ногам, и он не смог сделать свои представления достаточно скабресными, достаточно позорными; он не сумел извлекаться в грязи так, как это делают в театрах на бульваре. Он ступал по этой грязи на цыпочках» [Bazin 1833: II, 122–123].

Все дело в том, поясняет Базен, что буржуа надоедает целых двое суток ничем не торговать, и солдаты-граждане (то есть парижские буржуа, состоящие в национальной гвардии) все без исключения берутся за оружие²⁶.

²⁶ О психологии буржуа и о природе его любви к порядку Базен много говорит в главе, посвященной парижскому буржуа: «Буржуа любит порядок, он хочет порядка, он все поставит вверх дном ради порядка. А порядок для него — это ровное и беспрепятственное движение экипажей и пешеходов по улицам, это лавки, днем радующие взоры богатым товаром, а вечером — ярким светом газовых фонарей <...> Дайте ему все это, оставьте ему это материальное спокойствие, а дальше все вы, приписавшие себе власть над духом общества, вы, нуждающиеся в голосе буржуа на выборах или его подписи под петицией, делайте что хотите. Рассуждайте, нападайте, оскорбляйте, обличайте; истребляйте принципы и разрушайте репутации, этим вы его не смутите. Если фразы у вас яркие, он их позаимствует, ибо он сам любит блеснуть красноречием. Если эпитафия ваша остра, он позабавит ею своих гостей, ибо он любит хорошую шутку. Если вы сообщите ему новость, он поверит вам на слово, ибо он верит всему, что предано тиснению. Не бойтесь, что он распознает беспорядок в лице человека в черном фраке и с думой на челе, который говорит громко и гладко; такого человека он скорее примет за помощника мэра. Тот беспорядок, который он знает и которого страшится, тот, для борьбы с которым он выходит на улицу с оружием в руках, имеет обнаженные руки и хриплый голос, он грабит лавки и швыряет камни в муниципальных гвардейцев. <...> Уверьте буржуа, что его свободе угрожают, и он пойдет на все: оставит спокойную и благополучную жизнь, бросит дела и семью, стерпит любые тяготы <...> он первым потребует, чтобы закрыли заставы, обыскали магазины, взяли под стражу людей подозрительных. Он знает, что свобода сама себя не защищает, что ей нужны вмешательство полиции, труды дознавателя, законы чрезвычайного положения, которые поражают быстро, сильно и далеко. Ради свободы буржуа станет и жандармом, и полицейским — всем, только не доносчиком. <...> Через все революции, которые столько раз изменяли название его улицы, перевязь его городского стража, цвета флага над башней, по часам которой он привык определять время, кокарду его почтальо-

Известие об ограбленном магазине или разоренном *омнибусе* приводит граждан в негодование. Любопытных награждают тумачами, а бунтовщиков обращают в бегство. На следующий день уже трудно догадаться, откуда вышли и куда ушли участники трехдневных беспорядков, ибо всё и вся в городе возвращается в прежнее состояние. <...> Как видите, в таком бунте нет решительно ничего страшного. Конечно, эти регулярно повторяющиеся небольшие кризисы не указывают на абсолютное здоровье общественного организма, но, к счастью, они не сопровождаются никаким насилием, подвергающим опасности жизнь народа либо отдельных людей. Вдобавок они нарушают однообразность существования довольно безрадостного, они отвлекают от мыслей о будущем, а главное, они держат в напряжении, так что в конечном счете, пожалуй, ничего не может быть лучше. Есть люди, которые убеждены, что в июне 1832 года²⁷ на мостовую не пролилось бы так много крови, если бы и власти, и оппозиция не растеряли привычку к бунту. Обе стороны приняли восстание всерьез [Vazin 1833: I, 65–67].

Как видно из этого фрагмента, Базен отказывает бунтовщикам в осмысленности действий и воле к победе и рисует бунт не столько страшным, сколько нелепым. Тем не менее порой в его описании толпы уже взбунтовавшейся или могущей это сделать звучит не только пренебрежение, но и страх. Вид парижан, собравшихся на праздник, его вовсе не радует:

Содрогаешься при мысли, что эта масса народу, ныне движимая пустым и детским любопытством, может однажды проникнуться

на и герб его торговца табаком, он пронес почтение к власти. Тем сильнее он смущается, когда однажды утром открывает свою газету и обнаруживает, что она высказалась против правительства <...> Но в конце концов он решает, что власти могли быть просто обмануты; газета, конечно, во всем разберется, и с этой надеждой он засыпает, примирившись в душе с министрами и с префектом полиции, которого отставят не далее как завтра» [Vazin 1833: I, 44–47].

²⁷ 5 июня 1832 г. манифестация по поводу похорон генерала Ламарка переросла в бунт, который на следующий день был жестоко подавлен властями, а затем в Париже было даже введено военное положение, отмененное лишь 29 июня.

страстью корыстной или кровожадной. Тогда ум в ужасе льнет к тому, что осталось нам от цивилизации. Тогда помимо воли улыбаешься полицейскому офицеру и гладишь лошадь жандарма [Vazin 1833: II, 213].

Впрочем, если частный человек, не принадлежащий ни к бунтовщикам, ни к государственным чиновникам, может надеяться на то, что власти защитят его от толпы, то от произвола властей его не защитит никто. Об этом Базен пишет в предпоследней главе книги, носящей название «Обыск» [Ibid: 282–291].

Вы полагаете, — говорит он, — что вы у себя в доме полновластный хозяин (особенно если жена отлучилась) и что вам нечего бояться, кроме воров, грабежа и пожара. <...> Спокойной ночи, счастливый гражданин возрожденной нации!

На заре в дверь стучат и именем короля приказывают открыть; разбуженный хозяин дома ссылается на конституционную Хартию и свод законов, и слышит в ответ, что если он не откроет дверь сам, ее взломают с помощью слесаря. Он открывает. На пороге стоит человек в трехцветной перевязи (как скоро выяснится, комиссар полиции из соседнего квартала) в сопровождении десятка молодцов в гражданском платье с массивными тростями (впоследствии становится ясно, что это полицейские солдаты).

Ваше жилище, которым вы так дорожили, куда впускали только знакомых, да и тех просили на пороге вытереть ноги и снять шляпу, находится теперь в распоряжении всех этих людей. <...> Вам, конечно, предъявляют постановление об обыске, однако подписано оно не судьей, а префектом полиции — государственным служащим, который является не органом правосудия, но лишь его орудием, ибо его завтра же могут уволить.

Обыскиваемый — человек законопослушный и покоряется полицейским; впрочем, ему никто не запрещает протестовать:

Вам обещают приобщить ваши протесты к протоколу, а также объясняют, что у вас есть право написать петицию в обе палаты; утешения одно лучше другого. После чего все эти молодцы в смазных сапогах или грубых башмаках растекаются по вашему жилищу. Они роются в шкафах и под диванами, залезают в самые

потайные места, проникают в тайны вашего туалета и ваших недуг; полицейский офицер, человек совсем молодой, осматривает постель вашей жены, еще хранящую тепло ее тела. Статные молодцы сжимают своими грубыми ручищами самые хрупкие и нежные предметы, вам принадлежащие. Поначалу они ищут оружие. Ибо какими бы мирными ни были ваши нравы и ваша профессия, власти всегда исходят из предположения, что у вас запасен арсенал для государственного переворота. Полиция мечтает о ружьях. Однако она не брезгует и бумагами; и это — постыднейшее из злоупотреблений, на которые толкает ее власть плохо определенная и плохо ограниченная нашим законодательным пустословием. Комиссар полиции усаживается перед столом и подвергает внимательному и неторопливому просмотру все покрытые чернилами страницы, которые найдутся в ящиках вашего письменного стола и в ваших папках. «Но ведь все это, — восклицаете вы, раскрасневшись от гнева и возмущения, — все это моя жизнь, мое нравственное существо, мои мысли и чувства, моя совесть и мои печали, язвы моей души, — и чужой человек будет рыться во всем этом, трогать это руками и осквернять взглядом! А вот это признания друга, исповедь, вверенная моей чести, и показать ее чужому значит стать предателем». Господи, да кто же возражает? И тем не менее, если вы по-прежнему не хотите дожидаться появления слесаря с инструментами, поспешите отдать полиции ключи от вашего секретера.

Полицейские берутся за работу и подвергают досмотру все; от их внимания не ускользнут ни семейные дела обыскиваемого, ни его счета, ни его дружеские связи, ни связи любовные.

И наконец, после того как все эти пытливые люди, устав искать следы несуществующего заговора, подписывают протокол, вся банда откланивается с величайшей учтивостью, оставляя в вашем жилище все вверх дном, в грязи и в беспорядке; с собой завоеватели уносят в качестве добычи все тайны вашей семейной жизни, какими смогут забавляться над досугом, а также разобранный пистолет, две песенки и листок бумаги, покрытый цифрами, которые могли бы оказаться планом заговора, когда бы не были счетом кухарки. А завтра в газете будет напечатано: «Вчера у г-на Такого-то был произведен обыск..., в результате которого были обнаружены бумаги чрезвычайной важности». А теперь, ревностный сторонник современной цивилизации, скажите мне, сильно

ли вы гордитесь тем, что у нас упразднены пытки? Сильно ли вы радуетесь тому, что вам даровали множество новых законов?

Для того чтобы уничтожить подобные варварские обыски, режюмирует Базен, не нужно даже отменять никакого закона, ибо нет закона, который бы их разрешал.

Нужно только в один прекрасный день, когда вашим законодателям будет нечем заняться, когда им не нужно будет вести пустые споры о словах и вымещать свое дурное настроение на людях, — в этот день им нужно будет проголосовать за четыре строки, написанные в сердцах всех смертных, составляющие первую аксиому людей, живущих в обществе, и восстановить принцип, без которого слово «свобода», начертанное на наших стягах, остается жестокой насмешкой. Боюсь, правда, что в ближайшую сессию этого не произойдет.

Если Пушкин читал эту главу Базена, а равно и книгу Жанена об «июльском» Париже (а обе они в его библиотеке разрезаны), это должно было существенно укрепить его скепсис по отношению к парламентским режимам. Пусть даже непосредственным толчком к написанию стихотворения «Из Пиндемонти» послужил текст не французский, а, как недавно убедительно показал А. А. Долинин, английский [Долинин: 226–236], пушкинское отрицательное отношение к парламентским монархиям сформировалось не в результате чтения одного или двух стихотворений; оно складывалось постепенно, и почву для презрения или даже испуга (примерно такого же, какой вызвало у Пушкина знакомство с книгой Токвиля об Америке [Вольперт: 467–478]) создавал более широкий контекст, в котором книги Базена и Жанена были, возможно, не главными, но и не проходными. Особенно же привлекательной, как уже было сказано выше, должна была показаться Пушкину книга Базена, чьи лаконичные иронические выпады близки по интонации к пушкинским памфлетам²⁸.

²⁸ Ср., например, замечание о горбуне Майё в 1830 г.: «Вместе с победоносной толпой он двинулся в Тюильри. Из семи убитых жандармов он лично уложил целых сорок» [Vazin 1833: I, 84]. Или подведение итогов революции: «Если мы не хотим потерять еще

Не все, что Пушкин читал, использовалось им непосредственно в стихах или в прозе; но все, что он читал, образовывало фон, на котором стихи и проза создавались, и потому представляет интерес, даже если не стало прямым источником ни для одного пушкинского произведения.

ЛИТЕРАТУРА

- Вяземский: *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929.
 Вольперт: *Вольперт Л. И.* Пушкинская Франция. СПб., 2007.
 Долинин: *Долинин А. А.* Пушкин и Англия. М., 2007.
 Мильчина: *Мильчина В. А.* «Мюссе. Ночной столик»: попытка комментария к пушкинскому упоминанию // Пушкинские чтения в Тарту. 4. Тарту, 2007.
 Озуф: *Озуф М.* Революционный праздник: 1789–1799. М., 2003.
 Пушкин: *Пушкин.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937–1959.
 Пушкин в воспоминаниях: Пушкин в воспоминаниях современников. СПб., 1998. Т. 2.
 Томашевский/Вольперт: *Томашевский Б. В., Вольперт Л. И. Жанен* // Пушкин: Иссл. и мат. СПб., 2004. Т. XVIII–XIX.
 Barbier 1832: *Barbier A.* Iambes. P., 1832.
 Barbier 1833: *Barbier A.* Il pianto. P., 1833.
 Bazin 1833: *Bazin A.* Epoque sans nom. Esquisses de Paris, 1830–1833. P., 1833.
 Bazin 1840: *Bazin A.* Histoire de France sous Louis XIII. P., 1840. Т. I.
 Démier: *Démier F.* Le Génie de la Bastille, Marianne de l'orléanisme // La République en représentations. Autour de l'œuvre de Maurice Agulhon. P., 2006.
 Girardin: *Girardin D. de.* Lettres parisiennes du vicomte de Launay. P., 1986. Т. I.
 Janin 1832: *Janin J.* Paris depuis la révolution de 1830. P., 1832.
 Janin 1833: *Janin J.* Contes nouveaux. P., 1833. Т. I.
 Trollope: *Trollope F.* Paris et les Parisiens en 1835. P., 1835. Т. I–III.
 Vigier: *Vigier Ph.* Nouvelle histoire de Paris. Paris pendant la monarchie de Juillet (1830–1848). P., 1991.

больше, не будем устраивать новых революций, дабы в очередной раз провозгласить себя суверенными правителями» [Bazin 1833: I, 100].